



АЛЕКСЕЙ АХМАТОВ

# МОЕГО УМА ДЕЛО

12+

# Алексей Дмитриевич Ахматов

## Моего ума дело

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=57386140](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=57386140)*

*SelfPub; 2020*

*ISBN 978-5-532-04493-7*

### **Аннотация**

"Моего ума дело" – сборник небольших, но емких, и, порой, ироничных, заметок. Она состоит из нескольких пластов. Первый – яркие штрихи к портретам советских и российских литераторов: от Анны Ахматовой до Виктора Топорова. Второй: анализ творчества современных поэтов, выполненный доступным, увлекательным языком. И третий: философский взгляд автора на историю, не только литературы, но и страны, где эта литература развивалась. Книга даст богатую пищу для исследователей и доставит удовольствие широкому кругу читателей. Острая, содержательная, полемичная, она написана литератором, владеющим не только поэтическим даром и критическим взглядом, но и твердой гражданской позицией.

# Содержание

«По мордасам, но не сильно»	4
Дважды ахматовская будка	50
Конец ознакомительного фрагмента.	57

## «По мордасам, но не сильно»

\* \* \*

Посидев в кафешке с поэтом Глебом Горбовским, под вечер мы зашли к моему другу Николаю Позняку. Попели песни (исключительно сочинений Глеба Яковлевича), выпили водки, закусили принесенными с собой килькамипряного посола.

– А почитай нам, Коля, стихи свои, – прорычал Горбовский, но Позняк, ученый-химик, заявил, что никогда не писал.

– Пусть уж Леша читает, это его стихия, – отмахнулся он.

– Ну да, – повернулся ко мне Горбовский – стихи у тебя ничего, но хотелось бы, чтобы как-то вот эдак-бы...

– Чего, Глеб Яковлевич? – спросил я, наливая по стопкам.

– А и вправду, чего не хватает? Как надо? – подыграл Николай.

– А вот как! – рубанул Горбовский ребром ладони по столу так, что подпрыгнули стопки и кильки. – Стихи должны по мордасам бить... – он немного помолчал и добавил, – но не сильно... Я всегда старался так писать.

Вот в этой добавке и сосредоточился весь его опыт профессионального поэта. Если не по мордасам – то не интересно ни себе, ни читателю, а если переборщить, то цензура не пропустит. Стало быть, и до читателя не дойдет.

«По мордасам, но не сильно», – вспоминаю я всегда, когда речь заходит о лучших поэтах второй половины двадцатого века.

\* \* \*

Ранним утром поэту Геннадию Григорьеву позвонил драматург Сергей Носов и сказал, что у него есть «халтура» на сто баксов – нужно срочно написать стихотворение, посвященное поэту Александру Кушнеру. «Да знаю я прекрасно, что ты его терпеть не можешь. Что с того?! Заказчик – московский меценат, если не получит стихотворение к середине дня, отдаст заказ в другие руки. А деньги будут завтра вечером», – рассудительно убеждал он.

Невыспавшийся Григорьев, кляня Кушнера последними словами, сел за работу, однако, уже через пару часов, отринув с полсотни вариантов, он по телефону зачитал Носову получившееся четверостишие:

Говорят, что мир разрушен,  
Но хранит высокий свет  
Александр Семеныч Кушнер,  
Лучший в Питере поэт.

Лишь отослав стихотворение, Гена посмотрел на календарь и увидел дату «1 апреля». Стоит ли говорить, что никакого московского мецената не существовало, и денег Гри-

горьеву не заплатили? А четверостишие это вскоре появилось в Интернете за подписью «Г. А. Григорьев», чем немало удивило поклонников талантов обоих литераторов, хорошо знающих об особенностях отношения их друг к другу.

\* \* \*

Небольшая комнатка секретаря перед председательским кабинетом, метко названная поэтом Сергеем Николаевым «предсабильником». Отбираю в шкафу рукописи, пришедшие на мое имя. Выйдя из своего кабинета, председатель правления писательской организации Иван Сабилло в возбуждении наталкивается на меня и, здороваясь, рассказывает:

– Представляете, сегодня утром приходил ко мне Владимир Нестеровский и сказал, что Союз писателей находится в глубоком упадке, что у нас все сплошь бездари и графоманы. И вообще, организация давно бы рухнула, если бы не такой гениальный поэт, как он. А час назад зашел Олег Чупров. Я хотел ему эту историю рассказать, дошел до места о гениальном поэте, как Чупров перебивает меня: «А ведь прав Нестеровский. Действительно, если бы не я, давно бы развалилась организация».

Как управлять сообществом, в котором одновременно находятся три сотни гениев?

\* \* \*

Автор официального текста гимна Санкт-Петербурга Олег Чупров рассказал как-то одну историю. В году приблизительно шестьдесят третьем позвали его, начинающего тогда поэта, выступить в лито Глеба Семенова. Было оно одно из самых громких в городе (там начинали Глеб Горбовский, Александр Кушнер, Александр Городницкий), а располагалось во Дворце культуры имени Первой Пятилетки.

И вот, наш самоуверенный поэт в назначенное время рванул на себя двери центрального входа. А там народу – тьма. И почему-то все сплошь – военные моряки (чуть позже выяснилось, что для курсантов морского училища устроили вечер танцев). На вахте Чупрова попытались не пустить, но он стал возмущаться, заявляя, что получил особое приглашение, и никуда не уйдет, пока не прочтет стихи. Администрация сдалась, и ведущая, прервав намеченное течение вечера, объявила, что перед публикой сейчас выступит настоящий ленинградский поэт. Курсанты были недовольны, но все же смирились. Попросили только читать недолго – все-таки время в увольнительной летит быстро. «Всего пару штук», – радостно объявил Чупров и, открыв подготовленную подборку, начал с первого, попавшегося на глаза. Начиналось оно так:

На пляже было как всегда  
Полным-полно народу!  
Пришли и взрослые сюда

Мутить на солнце воду.

Далее в красках описывалось, как лирический герой ухаживал, и довольно удачно, за дамой в купальнике, пока не возник конкурент:

В мечтах собираюсь на маяк,  
Что мне несет удачу,  
Но вдруг на пляж пришел моряк  
И все переиначил.

Он плавал этак, плавал так  
Саженками и брасом...

Лирический герой, однако, не стушевался, и смог, благодаря обаянию и находчивости, добиться у дамы большего расположения. Заканчивалось же стихотворение такими строчками:

И всем нам было хорошо,  
Хорошим людям слава!  
А что моряк?.. А он ушел,  
Он слишком мелко плавал!

И тут поэт замечает, что ведущая машет ему из-за кулис. Напрягшись, он услышал ее отчаянный шепот: «Бегите,

молодой человек, бегите!». Тем временем в онемевшем зале раздались негромкие щелчки – то матросы снимали свои ремни с начищенными бляхами. Чупров бросился в боковые двери. Толпа – за ним. Преследование продолжилось и на улице. Олег Акимович вскочил на подножку трамвая, но «благодарная публика» побежала следом по мостовой. Тогда он бросился к кондуктору: «Спасите, я поэт! Меня хотят побить за стихи!». В общем, картина достойная пера Ильфа и Петрова: Остап Бендер, удирающий от поклонников шахматного искусства.

А на заседании лито Глеба Семенова, проходившего в это время в другом «крыле» ДК, искренне недоумевали, почему молодой поэт Чупров так и не явился выступать...

\* \* \*

Поэт-фронтовик Герман Гоппе много лет руководил Клубом Молодого Литератора при Союзе писателей СССР и литобъединением при газете «Смена». «Не говори Гоппе, пока не перепрыгнешь», – шутили мы между собой, сдавая ему рукописи на очередную конференцию или сборник «Молодого Ленинграда».

Прошло время. Союз распался на два неравных куска, Дом писателя сгорел. Молодые литераторы занялись бизнесом или просто поиском куска хлеба насущного. Герман Борисович плохо себя чувствовал и не мог самостоятельно набирать свои тексты на машинке.

Незадолго до смерти он позвонил мне и сказал: «Представляешь, у меня за жизнь в общей сложности было семь тысяч учеников, а вот сейчас, на старости лет, никто не может мне помочь перепечатать на машинке мои стихи. Ни один человек. Все говорят, что им некогда».

Пришлось печатать мне, хотя я как раз его учеником не являлся. Набирая его подборку на компьютере (тогда это еще был «Спектрум»), я все думал о бренности заслуг и авторитета и попутно о том, что Вознесенский таки отказал Пастернаку перепечатать его стихи, считая, что он выше этого.

\* \* \*

Поэт Дмитрий Толстоба рассказал мне забавный случай. В метро Василеостровская по эскалатору поднимался председатель секции поэзии, ленинградской писательской организации Семен Ботвинник. К нему на ступеньку встал молодой человек и с восхищением в голосе произнес:

– Здравствуйте, я узнал вас: вы гроссмейстер Корчной.

– Нет, – обескуражил его поэт-фронтовик, – я – Ботвинник!

Вообще-то, когда Семен Вульфович занимал председательское кресло, фамилия его мало располагала ко всякого рода шуткам. В Союзе ходило немало историй о загубленных им судьбах начинающих писателей. От его решений зависело, кому печататься, а кому нет, кому вступать в Союз, а кому сидеть до старости в «дворниках и сторожах».

На одном из первых своих официальных выступлений в Союзе я прочел стих про ветерана, который, расталкивая очередь, с бранью лезет к прилавку с фруктами. Там была такая строфа:

Он и тогда был не честней,  
Был и тогда прохвост.  
Он руку сбросил на войне.  
Как ящерица хвост.

Закljučая вечер, Ботвинник сказал: «Какое отвратительное стихотворение написал молодой поэт Ахматов». Несколькими годами раньше эта фраза бы перечеркнула мою литературную карьеру. Теперь же было совсем не страшно. Была какая-то веселая злость. Уже начиналась перестройка, крушились незыблемые авторитеты, и хаос постепенно овладевал всем вокруг.

Впоследствии Ботвинник стал тихим и скромным пенсионером. Трогательно сутулясь, он, довольно интересно и всегда по делу, выступал на разных мероприятиях, на которые изредка выбирался. И стихи его многие стали мне нравиться. Особенно это:

Берлин горит. Подтаявшая тьма  
Все выше поднимается и выше...  
Огонь вошел в угрюмые дома,

И с тяжким гулом оседают крыши,

И наземь балки падают, звеня,

И жаркий пепел сыплется за ворот...

Я много видел пепла и огня;

Я видел свой, войну познавший, город,

И пламя, полыхающее в нем...

Берлин горит совсем другим огнем.

\* \* \*

Поэт-авангардист Сергей Николаев жаловался, что не может обойтись без пива.

– Прямо пивной алкоголизм какой-то, – говорил он, – я должен хотя бы три бутылки в день выпить, иначе человеком себя не чувствую.

– А что за пиво ты пьешь? – спросил я.

– Чаще темное – оно хоть и тяжелое, но забирает лучше. «Балтика» № 6.

– А ты понимаешь, что выпиваешь три шестерки в день? Это же число зверя!

– Э нет, брат, – уверенно парировал Николаев, – я всегда пью из горла и бутылку переворачиваю. Так что получается три девятки.

\* \* \*

В 90-х годах у меня попросили один из рассказов в сборник петербургских писателей «Камень, выступающий из воды». Рассказ был написан довольно откровенно, и редактор, как бы извиняясь за вынужденное самоуправство, позвонил мне по телефону перед публикацией и сказал: «Ты уж извини старик, но у тебя там столько эротики. Мы не решились ставить все издание под удар, и кое-что у тебя вырезали».

Ну, вырезали – так вырезали. В конце концов, это право редактора-составителя. Хорошо еще, что предупредили. Получив недели через две авторский экземпляр, я с интересом перечитал собственное произведение с целью определить, насколько сильно оно пострадало от цензуры. Каково же было мое удивление, когда я обнаружил все откровенные сцены нетронутыми. Единственное, чего не было в тексте – цитаты из Экклезиаста: «Нет слаще слюны твоей сока»! То есть редколлегия, сама того не подозревая, отредактировала Священное писание. Самым разнузданным в моем рассказе оказалось библейское выражение! Я хохотал, как резаный. Да, далеко все-таки нашей постперестроечной сексуальной революции до библейских сексуальных откровений.

\* \* \*

Как бы я с этой женщиной жил!  
За нее, безо всякой бравады,  
я бы голову даже сложил,  
что сложнее сложенья баллады.

Дав отставку вчерашним богам,  
я б не слушал сомнительных сплетен.  
И отдал бы ей все, чем богат.  
И добыл бы ей все, чем я беден.

И, за нею не зная вины  
(что поделаешь – годы такие...),  
наблюдал я лишь со стороны,  
как бездарно с ней жили другие.

Но однажды (я все же везуч –  
помогает нечистая сила)  
протянула мне женщина ключ.  
Поняла, позвала, поманила.

И теперь не в мечтах – наяву,  
не в виденьях ночных, а на деле  
как я с женщиной этой живу?  
А как сволочь. Глаза б не глядели.

Автор этих строк – Геннадий Григорьев, мастер колких, почти эстрадных, поэтических реприз, однажды рассуждал:  
– Я человек выстрела, мне важна не метафора, которую все видят, мне важен выстрел, и я – стреляю. Это моя боль. А когда я понимаю, что я стреляю вхолостую, и не падают те,

в кого стреляю – значит, у меня что-то не получилось. Вообще меня мало интересует поэзия метафорная, у истоков которой стояли Мандельштам, Пастернак и другие. Первый-то, конечно, покруче был.

– Но ведь каждый из них шел своим путем в русской поэзии, и делал свои открытия. На этих путях все исчерпано? – спросил я.

– В забоях, на рудниках еще что-то осталось. Золотишко кое-где есть. Поэтому туда еще ходят. Ищи и ты, а я рублю главный туннель. Меня золото не интересует.

– А что ищешь ты?

– Свет! Только свет. Вот Вознесенский говорит: «Кому-то надо быть истопником». Придумал тоже: «мать – тьма». Ну и что?! Русский народ миллион таких вещей придумал. Неинтересно это. Евгений Александрович куда больше постарался, но и он тоже пораженец.

Я не политик, мне наплевать на то, что сейчас происходит, но мне больно и обидно, что закончилась русская литература. Мое поколение потерпело крушение. Ведь мы все просчитали как в шахматах. Мы просчитали, как бы было бы, если бы не было коммунистов. И – проиграли. Ничего не стало. И литературы.

– А что же осталось?

– Не знаю. Может быть, этот город... Я не люблю деревенщиков и никогда не стану деревенским поэтом, со всеми их избами, березками, платочками. Не потому, что этого не по-

нимаю. Оно мне тоже дорого, но мое – это Питер. Береговая линия Финского залива – линия моей судьбы. Ее ломали, да не поломали.

И он внезапно задекламировал:

Окушки теребили кукан,  
Но клевало все хуже и хуже.  
И внезапно дремучий туман  
Поднялся над Маркизовой лужей...

\* \* \*

Мы с приятелем навещали поэта Олега Охупкина в психиатрической больнице № 5, что располагается сразу за Троицким собором. Его непомерно огромный грязно-синий купол загромаждал половину зарешеченного окна в палате Олега. На беседу нам выделили часа полтора. Сигареты, чай, апельсины в полиэтиленовом мешочке... Кругом огромный коридор, заставленный железными кроватями в три ряда для тех, кому не хватило места в палатах. Сиротливое позвякивание мисок. Охупкин – худющий, в сером халате – затащил нас в какой-то тихий закуток, между ординаторской и кухней и зашептал мне на ухо:

– Понимаешь, я совершенно нормальный человек! Сижу дома, никого не трогаю. Думаю. Но только начинаю доходить до смысла жизни, только начинаю обретать великую гармонию, чувство единения со вселенной, как они хватают меня,

вяжут и везут сюда! Глупые люди, они не понимают, как потом сложно возвращаться на круги своя. Как тяжело потом снова доходить до этой великой гармонии!

Все-таки удивительные пациенты лежат в наших психиатрических лечебницах. И не только лежат, но и работают. Поразительный штрих в картину добавила санитарка – бодрая старушка, следящая за посетителями. Типичный представитель класса вахтерш советских общежитий, она по истечении отведенного времени кричит, что нам пора уходить.

– Сейчас, сейчас, они уже собираются, – говорит Охапкин, и, повернувшись ко мне, просит помочь пересыпать чай в другую емкость.

Санитарка, неправильно расслышав слово «помоги» бойко отвечает:

– Да Сапгира я бы пустила, хоть на весь день. А вы, ребятки, уходите. Свидание закончено.

Даже санитарки в наших психиатрических лечебницах удивительные.

\* \* \*

Читая воспоминания о поэтах Серебряного века, поражаешься иногда, до чего же писатели разных столетий похожи друг на друга. Даже чудачества во многом сходны. Недавно прочитал, что Сергей Есенин звонил сестре своей приятельницы, говоря: «Вы знаете, умер Есенин. Приезжайте». Другу некролог предлагал написать. И мне тут же вспомнилось,

как прозаик Игорь Лапшин, напившись, заставлял меня звонить куда-то в Сибирь, куда уехала его любимая женщина, чтобы сообщить, что он умер и необходимо срочно приехать на похороны. А поэт Виктор Ширали написал стихотворение на смерть Владимира Нестеровского лет за двадцать до кончины последнего, и тот, надо сказать, был несказанно рад этому произведению: «Здесь лежит Нестеровский, пиита отвратный на вид...»

Кстати, что касается Нестеровского, то, когда я читал воспоминания о Мандельштаме, то всегда невольно принимался оправдывать Владимира Мотелевича. Однажды я пришел в Дом писателя на Воинова со своей мамой (небывалый случай, может быть даже единственный в моей поэтической жизни). Видимо должно было быть какое-то образцово-показательное выступление. Первый, кто нам повстречался в фойе, был Нестеровский. Он тут же заинтересовался матушкой и пригласил ее на кофе в писательский ресторанчик. Обрадовавшись, что она на какое-то время пристроена, я понесся по каким-то своим делам, а когда мы увиделись с ней вновь, она с явным раздражением спросила меня, что это за тип, на которого я ее так опрометчиво оставил.

«Представляешь, – возмущалась она, – он заказал два кофе, какие-то булки, а когда подошла очередь расплачиваться, заявил: «а у меня денег нет». Конечно, я заплатила за двоих, но такой наглости я еще не видывала».

Ну как не вспомнить здесь, как Осип Мандельштам при-

гласил сестер Наппельбаум покататься на лодке по Царско-сельскому пруду. А как только лодка причалила к берегу, он грациозно соскочил с нее, подав руку жене, оставив ошеломленных девиц самим расплачиваться за это увеселение (и это еще не самый яркий случай в ряду подобных). В другой раз он вставил себе золотой зуб из материала дантиста, заявив, когда все было сделано, что денег у него попросту нет. Нестеровский на этом фоне – само благородство. Но, что самое интересное – у многих великих наших поэтов, совершавших постоянно дикие и бесчестные поступки, было самое обостренное чувство чести. Взять хоть Гумилева. Ведь воплощенное бесстрашие и рыцарство, а как бесчестен и жесток был с женщинами. От Ахматовой, которой изменял с остервенением, и до Елизаветы Дмитриевой (впрочем, ею далеко не кончая), из-за которой получил свою знаменитую пощечину от Волошина. А певец прекрасной незнакомки и возвышенной любви Блок, питающий пристрастие на деле лишь к продажным женщинам? Да кого ни возьми – везде дисбаланс между жизнью и стихами. Вот и Нестеровский, напиваясь, обычно любил разглагольствовать про честь. «Честь, – кричал он в телефонную трубку, прощаясь, – честь имею!»

Когда, однажды я не приехал на какую-то нашу встречу, он позвонил мне и в недопустимом тоне стал отчитывать меня, как ребенка (притом, что сам мог, наобещав, не явиться куда угодно, вплоть до собственного выступления). Когда

мне это надоело, я вяло произнес:

– Ну, вызовите меня на дуэль, в конце концов.

– Дуэль еще надо заслужить! – взвизгнул он.

– С чьей стороны? – начал заводиться я.

– С вашей, с вашей! – крикнул он и бросил трубку.

Причем, все это делалось, я убежден, довольно искренне.

Поэты всегда искренни и в своих взлетах, и в своих падениях. Наверное, потому что никогда не играют, так как постоянно находятся в игре. И в этом нет противоречия.

«Первая задача поэта – выдумать себя», – писал Иннокентий Анненский. Играя в такую игру, на игрушки в общечеловеческом смысле ни сил, ни интереса, видимо, не остается.

\* \* \*

Поэтесса Нина Савушкина, лукаво поблескивая глазами, рассказала такую историю: – В школе, в классе четвертом, я написала ко Дню Победы стих, который назвала «Веточки тополя»:

Они шумят. Их почки горьковаты.

Быть может, то осталось от войны –

от крови неизвестного солдата,

пролившейся за честь родной страны.

Мы их несём. Под тёплым майским ветром  
фанфары так торжественно поют.

И пионеры под весенним светом  
салют погибшим молча отдают.

Стишки эти всем понравились, и их решили прочитать по радио. Но отчего-то переименовали из «Веточек тополя» в «Ветеранам». И вот, представьте, объявляет диктор: «Стихи Нины Савушкиной. «Ветеранам». А дальше: «Они шумят, их почки горьковаты...» Предположим, старички-ветераны действительно шумят, собираясь в очередь за картошкой или играя в домино, но кто пробовал их почки?! И потом – «мы их несем, под теплым майским ветром...» Какой сюрреализм! Но так и читали несколько лет подряд.

\* \* \*

Моя бабушка, Людмила Ахматова, под конец жизни стала очень походить на пожилую Анну Андреевну, особенно в профиль. Бабушка родилась на Украине, как и великая поэтесса – так что это украинские, скорей всего, типажи с татарской примесью. У меня даже появилась лукавая мысль: выставить в Интернете бабушкины фотографии с подписью «неизвестные снимки Ахматовой» – интересно, смогут ли их «раскусить»?

Бабушка была энциклопедистом, дружила со многими интересными людьми, например, с известной переводчицей Татьяной Гнедич. На один из ее юбилеев прислала телеграмму «С днем рождения! Ахматова». Гнедич получила телеграм-

му во время застолья и с важностью стала показывать гостям, умалчивая при этом, кто истинный адресат.

Когда-то я интересовался своей родословной, и обнаружил, что фамилия «Ахматов» не такая уж редкая. Заглянув в базу данных по Петербургу, обнаружил около пятисот однофамильцев – меня эта цифра поразила. Яшкины, казалось бы, что может быть ordinarily, а их в городе всего трое.

«Ахматов», как и «Ахметов» означает «достойный похвалы». Однако какую окраску придала своему псевдониму Анна Андреевна в стихотворение «Имя»: «Татарское, дремучее, пришло из никуда, к любой беде липучее, само оно – беда»!

Когда я только начинал публиковать стихи, мне настойчиво предлагали взять псевдоним – мол, нескромно с такой фамилией на поэтическом поприще. Моему деду, морскому офицеру, тоже предлагали сменить фамилию – в 46-м году, когда Ахматову исключили из Союза писателей. К его чести, он отказался.

\* \* \*

Один мой сосед по Комаровским дачам, прозаик Владимир Шпаков, имеет машину, а другой, поэт Виталий Дмитриев, не имеет. Поэтому ходит в магазин пешком и возвращается с огромными сумками и рюкзаком продуктов.

– Ты посмотри, навьючен, как верблюд! – ухмыльнулся как-то при виде Дмитриева Шпаков.

– Нет, весь я не верблюд! – тут же парировал Дмитриев.

\* \* \*

Геннадий Григорьев рассказал, как хохму историю о том, как пил в одной из пельменных на Петроградской с поэтом Глебом Горбовским, в то время как Глеб Яковлевич «развязал» с алкоголем. Перед закрытием к ним подошла уставшая буфетчица, и, с сожалением глядя на Горбовского, тихо сказала: «По-моему, вам больше пить не надо».

«А вы знаете, сколько я могу не пить? – браво поднял свою кудлатую седую голову Глеб Яковлевич, – я двадцать семь лет могу не пить!»

«И ведь это была чистейшая правда», – резюмировал свой рассказ Григорьев. Горбовский не пил почти тридцать лет. И это, что удивительно (а может, и закономерно), пагубно сказалось на его творчестве. Тысячи невыразительных и вялых стихов были написаны им за это время. Я сам, читая книги этого периода, и не зная его ранних вещей, поражался, чего в нем находят мои старшие коллеги по перу. Помню, долго спорил об этом с поэтом Дмитрием Толстобой.

Но после того, как он начал пить, дар, самым непостижимым образом вернулся к нему. Однажды я даже набрался наглости сказать ему об этом. Проиллюстрировав свои слова таким примером, что, дескать, открывал в юности одну его книгу за другой, плевал и закрывал их, так и не найдя ни одного стоящего стихотворения.

«Да... – прорычал Горбовский, – а я в твои стихи, Алеша, не плевал». Так и не понял он, о чем я хотел сказать. Обиделся. А в прочем, может и говорить я начал неправильно, крепко мы к тому времени выпили. А как правильно? Я ведь действительно плюнул тогда на поиски хорошего стиха. Фигурально, конечно. А последние десять лет Горбовский писал блестяще. Причем иногда по десятку стихов за день, словно за все тридцать лет отдувался. Нечеловеческая выработка! «Я как-то за день пятьдесят стихотворений написал», – сказал он. Конечно, это кажется невероятным, но, с другой стороны, почему бы нет. Федор Сологуб как-то признался, что за день написал сорок три стихотворения.

\* \* \*

В конце 90-х я с Борисом Хосидом, с которым был тогда дружен, объездил множество самых разных питерских поэтов с видеокамерой. Это казалось важным – ведь многие читатели не видели поэтов, иначе как на титульном листе собрания сочинений. Мы снимали на пленку то, как поэт читает свои стихи, что он думает о литературе, в какой обстановке, в конце концов, живет. Кто, например, знает, как выглядит рабочий кабинет Виктора Сосноры, какие книги стоят в шкафу Вадима Шефнера? Мы и название для этого проекта придумали: «Питерские поэты конца XX века».

И вот, в поле нашего зрения оказалась Елена Шварц, модный тогда поэт-авангардист. Я позвонил ей, и она уныло вы-

слушала мои тирады о важности передать для читателей образ современного поэта, окружающий его быт. Долго отнекивалась, говоря, что ей очень некогда, и оживилась лишь, когда спросила, сколько ей заплатят.

Я собрал в кулак все свое возмущение и вкрадчивым голосом сказал ей:

– Ну что вы, Елена, мы же понимаем, что поэты – люди небогатые. Поэтому мы весь проект осуществляем за свой счет, и никаких денег с вас не возьмем.

– Вы неправильно меня поняли, – начала раздражаться Шварц, негодуя на мою бестолковость. – Я спрашиваю, сколько денег я получу за ваши съемки?

Мне оставалось только валять дурака:

– Не волнуйтесь, пожалуйста, никаких расходов не потребуется. Для вас все будет абсолютно бесплатно.

– Тогда мне это неинтересно, – заявила она и бросила трубку.

Ее обильно издавала за граница, светила какая-то премия, – по-моему, ее сознание придавило «Букером», или чем-то в этом роде.

Я подумал тогда – как странно. Нас сразу и радушно принимали такие мэтры, как Александр Кушнер, Глеб Горбовский, Надежда Полякова, и даже поэт из того же андерграундного круга, что и Шварц, но только успевший ухватить побольше почестей, Виктор Кривулин. А Елена, только-только хлебнув славы, уже вела себя как привередливая

«звезда».

При этом загадка ее письма проста. Побольше темных мест и заумных закидонов, в которых тонут действительно интересные, но, увы, немногочисленные метафоры и находки...

\* \* \*

Поэту Владимиру Морозову, на следующее утро после его выступления позвонил его собрат по перу (фамилию сейчас не помню), и восторженно объявил:

– Знаешь, Володя, очень мне стихи твои понравились. Хороший ты поэт!

– Сам ты хороший поэт, – яростно вскричал Морозов, – а я поэт выдающийся! – и насмерть разругался с потенциальным поклонником.

Собственно, в этой истории примечательно, главным образом то, что рассказал мне ее сам Владимир Ильич, страшно негодуя на позвонившего. И был он совершенно искренен.

\* \* \*

Борис Хосид, написавший за всю свою жизнь не более двух десятков стихов, очень возмущался тем, что поэт Глеб Горбовский стащил у него строчку. «Как можно так поступать? – вопрошал он. – У него столько стихов, а я так мало пишу, и он же у меня дерет! Это бессовестно!» Я и сам, при-

знать, как-то заметил у Глеба Яковлевича свой слегка переработанный образ. И тоже не совсем этому обрадовался. Потом, правда, нашел объяснение. Во время дружеских посиделок мы обычно читаем много своих стихов, и его цепкий ум выхватывает из общего потока метафоры, которые он использует, не помня потом, откуда взял. Он берет, не осознавая, также как берет образы... ну, скажем, у природы, у парка Победы, на которое выходит его окно. Однако и у самого Горбовского однажды стащил тему стихотворения замечательный поэт Геннадий Григорьев. Судите сами, что было, и что стало.

Глеб Горбовский:

На дне окопного оврага  
Добыл я гильзу из стены,  
А в ней – истлевшая бумага,  
Письмо, пришедшее с войны.

Должно быть, кто-то перед боем  
Смочил графит карандаша  
И с перемазанной губою  
Писал, как думал – не спеша

Вручал слова бумаге брэнной,  
Писал, склоняясь к фитилю

... И вот слова сожрало время  
И лишь одно сквозит: «лю-блю»...

Одно осталось... Но упрямо  
Горит сквозь все, что в жизни есть...  
... Что он «лю-бил»..? Отчизну? Маму?  
Иль ту, которую?.. Бог весть.

Любил и все! Не по приказу.  
А по приказу он в тот раз,  
Наверно, встал и умер сразу.  
И вот воскрес,  
Во мне,  
Сейчас!!!

1976

Геннадий Григорьев:

Каких только чудес  
на белом свете нету!  
Конверт о трех углах,  
обычный, фронтовой...  
Полвека, почитай,  
он провалялся где-то.  
И вот пришел с войны

и лег передо мной.

Наткнувшись на него  
среди макулатуры,  
я понимал: читать  
чужие письма – грех.  
Но аккуратный штамп  
«Проверено цензурой»  
как бы уже письмо  
приоткрывал для всех.

Был цензор фронтовой  
работ центурных правил.  
И он (а вдруг письмо  
да попадет к врагу!)  
лишь первую строку  
нетронутой оставил  
да пощадить решил  
последнюю строку.

Я цензора сейчас  
не упрекну в бездушье.  
Он свято чтит свой долг.  
Он знал свои права.  
Не зря же он письмо  
замазал жирной тушью.

Наверно, были там  
и вредные слова.

Писалось то письмо  
в окопе? на привале?  
И кто его писал –  
солдат ли, офицер?  
Какие сны его  
ночами донимали?  
О чем он помышлял  
во вражеском кольце?

Лишь «Здравствуй, жизнь моя!» –  
оставлено в начале.  
И «Я люблю тебя!» –  
оставлено в конце.  
1985

Не правда ли, это не прямой плагиат, но все же стихотворение написано, что называется, под впечатлением.

Впрочем, в литературе это дело распространенное. Стащил же Федор Сологуб стихотворение «Пчелка» у Зинаиды Гиппиус. Известно его собственное высказывание: «...не хорошо тому, у кого берут, и недурно тому, кто берет». Он же впоследствии напишет: «Я когда что-нибудь воровал – никогда печатно не указывал источников... И забавно, что меня

не могли уличить в плагиате».

Главный вопрос, видимо, заключается в том, что переделка должна превосходить переделываемое по силе. Иначе она и бессмысленна, и постыдна.

\* \* \*

Зашел к поэту Евгению Каминскому в журнал «Звезда». В коридоре встречает меня заведующий поэтическим отделом Алексей Пурин и извиняющимся тоном произносит:

– Здравствуйте, тетка, вот, знаете ли, никак до стихов вашей жены руки не доходят, так рукописей много.

Со своей женой, поэтессой Еленой Жабинковской, мы расстались уж года два назад. Естественно, об этом мало кто знал. Отменный повод для шутки:

– Вы так медленно читаете рукописи, что за это время я уже развестись с Жабинковской успел.

Кажется, его это искренне огорчило. После этого он еще несколько раз подходил ко мне и спрашивал, неужели это случилось, пока он держал у себя ее подборку. Может быть, это произошло раньше?

– Конечно, раньше. Но разве мог я не пошутить по этому поводу, – ответил я.

\* \* \*

Шумно отметила свой пятидесятилетний юбилей редакция журнала «Нева» в Доме Журналистов на Невском. Бли-

ны с икрой, перепела на вертеле... Народу – тьма: от Ивана Сабилло до Александра Кушнера, от Галины Гампер до Владимира Алексеева.

– Привет, как жизнь, – ко мне, сквозь толпу жующих литераторов протискивается прозаик Павел Крусанов. Я делаю шаг навстречу, приветливо улыбаясь.

– Ты что же, пост не соблюдаешь? – брезгливо показывает он на мою закуску. – Нехорошо. Не по-русски.

«Может, он шутит», – думаю я, но, заметив в его руке сиrotливую дольку зеленого яблока, понимаю, что отнюдь.

– А водка в твоей рюмке, – спрашиваю, – с постом не диссонировает?

– Нет, – говорит серьезно, – она ведь из чего сделана? Из чистого зерна! Хлебная она, а значит – постная.

...А через полгода журнал с треском выставили из родных пенат на окраину, в помещение, где даже нет телефонов. Справедливости ради, следует сказать, что потом им все же дали приличный полуподвал на Фонтанке.

\* \* \*

Лучший (после Чуковского) детский поэт XX века в одном из своих интервью сказал, что терпеть не может маленьких. Это нормально. Это даже закономерно... «Танцует тот, кто не танцует», – написал об этом когда-то Александр Кушнер.

Правда, перевалив за девятый десяток, Сергей Михал-

ков заявил, что и стариков не любит. Говорят, когда кто-то упрекнул его в том, что он написал плохие слова для гимна, то ответ получил такой: «Зато ты будешь слушать их каждый раз стоя». Хороший ответ.

Целая эпоха за спиной. Неслабый путь от чернорабочего до главы Союза писателей. Можно по-разному относиться и к нему, и к его отпрыскам. Все мы неотвратно «едем, едем, едем в далекие края...». Теперь вот уехал и сам Михалков, большой художник и крупный человек.

А давным-давно, в 1942 году он написал такие стихи про «десятилетнего человека»:

Крест-накрест белые полосы  
На окнах съезжившихся хат.  
Родные тонкие березки  
Тревожно смотрят на закат.

И пес на теплом пепелище,  
До глаз испачканный в золе.  
Он целый день кого-то ищет  
И не находит на селе.

Накинув драный зипунишко,  
По огородам, без дорог,  
Спешит, торопится парнишка  
По солнцу, прямо на восток.

Никто в далекую дорогу  
Его теплее не одел,  
Никто не обнял у порога  
И вслед ему не поглядел,

В нетопленной, разбитой бане,  
Ночь скоротавши, как зверек,  
Как долго он своим дыханьем  
Озябших рук согреть не мог!

Но по щеке его ни разу  
Не проложила путь слеза,  
Должно быть, слишком много сразу  
Увидели его глаза.

Все видевший, на все готовый,  
По грудь проваливаясь в снег,  
Бежал к своим русоголовый  
Десятилетний человек.

Он знал, что где-то недалече,  
Быть может, вон за той горой,  
Его, как друга, в темный вечер  
Окликнет русский часовой.

И он, прижавшийся к шинели,  
Родные слыша голоса,  
Расскажет все, на что глядели  
Его недетские глаза.

Когда его спросили, что в жизни главное, он, не задумываясь, сказал: «творчество».

\* \* \*

Трудясь в котельной возле Богословского кладбища, я нередко проходил через него, сокращая себе путь на работу. Помимо известных Цоя и Маринеско, тут лежат Виталий Бианки, Анатолий Мариенгоф, Лев Успенский... Однажды, на пересечении Двинской и Петрокрепостной дорожек я встретил высокий гранитный постамент, на котором выбито: «Илья Садофьев 1889 – 1965».

Забытый поэт, один из главных пролеткультовцев, руководивший когда-то Петроградским отделением Союза поэтов – в аккурат между Гумилевым (нелегитимно, как сейчас бы сказали, снявшим с этого поста Блока) и Тихоновым. И не просто забытый, а основательно – даже в «Строфы века» не попал, где полно более незначительных фигур. А был он человеком многогранной судьбы. За стихотворение «В заводе» загремел в якутскую ссылку с характеристикой «возбуждение вражды между рабочими и работодателями». Ссорился с Маяковским и футуристами. Это его ярлык веша-

ли на левых: «примазавшиеся к революции». Входил в окружение Есенина, цеплял Шкловского. Последний писал тогда: «Илья Садофьев, вы меня считаете белым, я считаю вас красным. Но мы оба русские писатели. У нас у обоих не было бумаги для печатания книг... Вам кажется, что мы враги, на самом деле мы погибаем вместе». Его ценил символист Брюсов, а учителем его был реалист Горький.

Весь Мир – арена боя двух начал враждующих,  
Весь Мир – огня стихия... весь Мир – Они и Мы!  
Мы – красные строители счастья, дней чарующих,  
Они – тираны белые, творцы гнетущей тьмы...

– писал Садофьев в книге «Динамо-стихи». Может, как поэт и небольшой, но романтик и в стихах, и в жизни! И как всякий романтик – несколько наивен. И детей своих от жены Параскевы он назвал Аполлоном и Лирой.

\* \* \*

Однажды поэтесса Ирина Знаменская позвонила поэту Олегу Левитану и объявила, что у нее есть две новости. Одна, как водится, хорошая, другая – плохая. Олег Николаевич попросил начать с хорошей.

– Леонид Хаустов выступал на бетонном заводе и провалился в яму для цемента.

– Какая же плохая? – спросил Левитан.

– Достали, – печально объявила Знаменская.

\* \* \*

Едем с поэтом Глебом Горбовским по Московскому проспекту в сберкассе снимать денежку, в очередной раз ему «капнувшую», – как он любил характеризовать поступление гонораров. Впереди нас телепается рафик с номером «К 705 ТС 47», где последние две цифры написаны чуть мельче и выше остального. Глеб Яковлевич внимательно читает вслух: «Приближаемся к семьсот пяти тысячам в сорок седьмой степени».

\* \* \*

Всегда удивлялся, как писатель уровня Василя Быкова, мог заделаться в оголтелые националисты, бросить Родину, в конце концов, и уехать в Германию к немцам, о которых написал столько своих военных повестей. И там умереть. Я поделился на одной из вечеринок в журнале «Звезда» этим недоумением с редакторами.

– Так это не он все писал, – сказал, выслушав меня, редактор отдела прозы одного толстого журнала. – Как-то к нам пришла из Белоруссии рукопись, подписанная Василем Быковым. Я когда просмотрел ее, изумился, до чего безграмотный и корявый язык. Даже пошел к главному редактору с подозрением, что это подстава. Думал – посмеяться кто-то решил, под известной фамилией проталкивая свою графо-

манию. Но главный редактор меня заверил, что Василь таков и есть, и что все его произведения – результат художественной обработки редакторами и переводчиками, а самостоятельно наш великий писатель двух слов связать не в состоянии. И действительно, мне заново пришлось переписать присланные рассказы. В таком виде они и пошли в печать.

Я подумал, что и многие наши столпы литератур малых народов – результат работы переводчиков. Когда-то, работая секретарем у основоположника мансийской литературы Ювана Шесталова, я сделал несколько переводов с его подстрочника, как он это называл. На деле это были никакие не подстрочники. Он так и писал, нимало не озаботившись ни размером, ни рифмами, которые я, в свою очередь, уже исправно лепил и украшал.

Наших Кулиевых, Шесталовых, Кугультиновых, Гамзатовых и других, безусловно, делали переводчики, потому как последние – прекрасные русские поэты. Переводами они зарабатывали себе на кусок хлеба с маслом. А все-таки, с Василем Быковым как-то до обидного странно. Я так зачитывался им в юности. Наверное, он для меня остается лучшим военным писателем. Лучше и Васильева, и Бондарева.

\* \* \*

Перед самым Новым Годом заглянул на один корпоративчик: начальство оптовой базы проставлялось своим работникам. Я задумался, а отличаются ли чем-нибудь писатель-

ские пьянки от всех остальных. И понял – отличаются. И существенно. Все напиваются легко, под шутки и прибаутки. Иногда, не очень легко и под мат-перемат. Но только писатели, поднимая рюмки, продолжают говорить о своем ремесле.

Никакому плотнику в голову не придет, назюсюкавшись с другим плотником, все застолье обсуждать остроту резца или толщину болванки. Только писатели всегда погружены в профессию по уши. Никаким алкоголем не вытацишь.

\* \* \*

Выступал на секции поэзии родного Союза с поэтической подборкой, в котором было стихотворение:

Когда читатель и советчик,  
Не говоря уж про врача,  
По лестнице колючей в вечность  
Уходят, дружно хохоча;

Когда все вызывает рвоту,  
Когда, как сонная змея,  
Твоя строка вполоборота  
Глядит недобро на тебя,

Знай – ремесло земное выжить  
Важней искусства падать вниз.  
Не паникуй, как Боря Рыжий,

Как Башлачев, не суетись.

В период обсуждения со своего места поднялся поэт Николай Астафьев и гневно осудил эти стихи. Конечно, не саму идею, а последние строчки.

– Какое неуважение к достойным людям, трагически ушедшим из жизни, – заявил Астафьев.

Отвечать на это показалось мне глупым, и я не стал с ним спорить. Каково же было мое удивление, и радость одновременно, когда недели через две я разговорился с главным редактором «Царскосельского альманаха» Гумером Каримовым.

– А ведь, ты знаешь, что стихотворением «Когда читатель и советчик...» (тем самым) ты жизнь спас нашему прозаику Герману Алексееву, – сказал он, лукаво прищурясь.

– Нет, откуда ж? – ответил я.

– На полном серьезе! Он готовился к самоубийству. Денег нет, работы нет. Друзья бросили. И он уже подумывал о том, чтобы решить проблемы разом, шагнув с десятого этажа. И тут (Господь Бог изобретателен на такие моменты) ему в руки попался мой альманах, да еще и раскрытый на этой странице. Он прочел... и передумал кидаться с балкона. После этого повесть написал, опубликовал. В общем, стал жить, в себя поверил.

Судьба редко преподносит подобные сюрпризы, и я подумал, а спасло бы жизнь хоть кому-нибудь стихотворение на

ту же тему, написанное политкорректно, никого не задевая?

\* \* \*

Геннадий Григорьев был мастером анаграмм (искусство составления из букв имени и фамилии новых слов).

– Это гораздо сложнее палиндромов, – как-то хвалился он. – Я составляю анаграммы честно, т. е. со всеми буквами, какие есть в слове. Вот беру, например, имя председателя Союза писателей, драматурга – Владимир Константинович Арро, перетасовываю буквы, как карты в колоде, и получаю: «Он чиновник или автор драм». А наш премьер, Виктор Степанович Черномырдин, аккуратно укладывается в анаграмму: «Просмердит ветчина рыночников». Можешь проверить. Все буквы на месте.

– А на самого себя сочинял? – спросил я.

– Ну, Геннадий Анатольевич Григорьев – очень сложное сочетание букв, – раздулся от важности Гена. – Многие за это брались и говорили, что ничего путного не выйдет. Но я всю ночь просидел – и в голову само как бы сверху мне спустилось: «Трагичен ли гений? Верь в огонь ада!» Анаграммирование человека, по сути, – пронизывание его всего насквозь, как рентгеном. Вплоть до предсказания судьбы. Например, я анаграммировал Михаила Давыдовича Гурвича – вышло, что он поэт с блестящим будущим. А он взял псевдоним Михаил Яснов – и все, судьба изменилась!

\* \* \*

Поэтесса Ирэна Сергеева, прочитав мои миниатюры, прислала мне «в копилку» и свою забавную историю. Передаю ее почти дословно:

«В 1959 году в Ленинграде в Доме писателя проходила дискуссия о лирике. Спускаюсь с главной лестницы и вижу перед входом в кафе Евтушенко в какой-то цветной, конечно, импортной, конечно, – синтетической коротенькой шубе. Тут же возникает четверостишие, которое я кому-то читаю:

Он не смешной, он – жуткий  
Юноша в дамской шубке,  
Юноша с птичьим носом  
И с человеческим мозгом.

Спустя пять лет, при встрече с Юрием Нагибиным, зашла речь о Евтушенко, который снова приехал в Ленинград, и я мимоходом прочла эту эпиграмму, а также рассказала, что в шведском журнале вышла статья о Евтушенко. Нагибин попросил статью и перевод, и я на следующий день зашла к нему. К моему удивлению, там оказался и Евтушенко, желавший тоже получить статью. Нагибин тут же попросил, чтобы я прочла эпиграмму. Показалось неудобным, но писатели настаивали. Прочла. Но Евтушенко, равнодушно или притворяясь равнодушным, вздохнул: «Да я это давно знаю!»

А еще через пять лет, в «Авроре», Лидия Гладкая тор-

жественно принимала Вознесенского, и я оказалась в числе гостей. Пришла, принесла шампанское. Лида, представляет меня, даму, Вознесенскому, а не наоборот. Ну, я «скромно», в том же ключе: «Вы моих стихов не знаете...» А он: «Почему же? Он не смешной, он – жуткий...» Словом, с большой любовью к Евтушенко запомнил. Говорят: дурная слава вперед бежит. В данном случае, нелестные слова передавались, как видно, с удовольствием и доходили до адресата».

\* \* \*

Когда я, потрясенный в очередной раз глубиной и яркостью метафоры своего друга Николая Позняка, спросил, отчего же он не возьмет в руки перо, он, ни секунды не задумываясь, ответил:

– Пространство русской литературы и так не слишком вместительно. Зачем же я буду загромождать ее еще и собственными стихами?

\* \* \*

Старик Горбовский получил литературную премию Союзного государства. Ни много, ни мало – пять миллионов рублей. Благодаря учредителей и всех собравшихся, Глеб Яковлевич заверил, что его эти деньги уже не испортят. В газеты эта по-настоящему живая реплика навряд ли попала.

\* \* \*

Недавно прочитал в письме Мандельштама к Тынянову от 21 января 1937 года такие слова:

«Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию, но вскоре стихи мои сольются с ней, кое-что изменив в ее строении и составе».

Без сомнения, все так, но я почему-то вспомнил запись в дневнике Иоанна Кронштадтского:

«30. VII. 1869. Воззвал я ко Господу с полным упованием о прекращении дождевого ливня, и чрез 5 минут небо просияло».

\* \* \*

На открытие первого номера журнала «Северная Аврора» приехали нас поздравить московские литераторы из журнала «Литературная учеба» и «Юность». Поэт Андрей Романов попросил подготовить москвичам подборки стихов, и я засел за компьютер в вечном поиске, что бы дать. Дело в том, что практически все мной написанное было либо опубликовано (через неделю выходило мое избранное, с последними стихами), либо рассматривалось для публикации. Только-только у меня попросили десяток стихов в альманах «Петрополь», а два дня назад я отнес подборку в журнал «Нева». Однако же, какие-то стихи выбрать было нужно. Совсем старые, из прошлых книг, брать не хотелось, но я подумал: «А что, собственно, москвичам? Не все ли равно. Моих стихов никто из них не публиковал, да и не читал, наверное. Какая им раз-

ница!» Подобрал, скомпоновал и распечатал.

Пришло время знакомиться. Приятные ребята. Прозаик и критик Игорь Михайлов и поэт Валерий Дударев. Разговорились. Я представился.

– А ведь я вас знаю, – воскликнул Михайлов.

– Откуда? – удивился я.

– А я читал вас когда-то... по-моему в «Книжном обозрении». Сейчас я даже вспомню, там еще метафора такая была: что-то о том, как рощица сбегает с холма, как молоко...

– А! – еще больше удивился я. Действительно, было такое:

С холма березовая рощица вскипая  
Сбегает вниз, как с плитки молоко.

Но ведь это было лет восемнадцать – двадцать назад.

Ребята засмеялись, а мне невольно, сквозь приятную волну, стало стыдно за мысли о том, что москвичам все равно, что им дают. «Двадцать лет помнить чужую строку», – с трепетом подумал я, и смог сказать только:

– Ну и память...

– Ну и образ, – парировал Игорь Михайлов.

Тем же вечером, после презентации «Северной Авроры» мы собрались на лито с моими учениками. Я, не удержавшись, похвастался этой историей, а затем вышел поговорить по телефону. Выйдя, за дверью услышал комментарий молодого поэта Кирилла Пасечника: «Во, заливает!»

И от его неверия история приобрела еще большую значимость, а мое самодовольство раздулось еще сильнее.

\* \* \*

Отсняли сюжет, посвященный 199-летию со дня рождения Тютчева. Задумка такова: в кабачке собирается поэтическое общество «тютчеведов». Роли распределены заранее. Прозаик Володя Шпаков – эксперт-биограф. Поэт Николай Наливайко – восторженный почитатель. Поэт Евгений Антипов – «злой следователь» с тезисами: устарел, архаичен, дидактичен. Я – «противовес» Антипову: метафоричен, афористичен, патриотичен.

Половину из беседы ведущая забраковала, как слишком для телевизора умную. При этом выразила удивление:

– А Тютчев что, был патриотом?

– А как же, – говорю, убежденный государственник.

– Надо же... я разочарована, – протягивает она.

– Почему? – удивляюсь в свою очередь, – а кем же вы думаете, он был?

– Ну, – затрудняется ведущая, – а я думала, он нормальный человек.

Такой диалог. Красивая, ухоженная девочка. Даже стихи, посвященные Денисьевой, знает.

Затем съемочная бригада уехала, а мы продолжили, рассуждая, в какую партию вступил бы Федор Иванович сегодня. Мне почему-то подумалось, что в КПРФ, даже несмот-

ря на то, что, будучи старшим цензором страны, он запретил публиковать манифест коммунистической партии со словами: «Кому надо, прочтут и на немецком».

\* \* \*

С удовольствием перечитал один из ранних сборничков Александра Кушнера «Приметы». Это белоснежная, в суперобложке, книга тиражом в 10 000 (!) экземпляров, которую выпустил обыкновенный учитель обыкновенной школы рабочей молодежи на Выборгской стороне, в возрасте тридцати трех лет. Там нет ни одного «датского» стихотворения. Есть о душе, есть о вечной жизни (о душе, вообще, замечательно):

...То, что мы должны вернуть  
Умирая в лучшем виде...

Очень много об аде (на дворе воинствующее безбожие конца 60-х):

И если в ад я попаду,  
Есть наказание в аду...

И о рае: «...то тихо скрипнет дверь в раю...»

Поэтому мне всегда смешно, когда рассказывают о том, как цензура снимала стихи и целые подборки, если редактор

замечал религиозный подтекст. А может, просто писать нужно было хорошо, тогда б и рай, и ад проходили?

Но, возвращаясь к «Приметам». Не могу не привести блестящее, возможно, лучшее в книге стихотворение:

Казалось бы, две тьмы,  
В начале и в конце,  
Стоят, чтоб жили мы  
С теньями на лице.  
Но не сравним густой  
Мрак, свойственный гробам,  
С той дружелюбной тьмой,  
Предшествовавшей нам.  
Я с легкостью смотрю  
На снимок давних лет.  
«Вот кресло, – говорю, –  
Меня в нем только нет».  
Но с ужасом гляжу  
За черный тот предел,  
Где кресло нахожу,  
В котором я сидел.

Это, кстати, третья книга, а первая у Кушнера вышла в двадцать шесть лет. Причем не пятьсот экземпляров за свой счет, как, например, у Марины Цветаевой в 1910-м, в несоветские времена, а те же десять тысяч, продаваемых по всей стране. И получил за нее гонорар, на который можно бы-

ло жить год. При этом он пишет, говоря о Бродском: «... наша бедная, полунищая, убогая, до 1987 года подневольная жизнь представляется ему оазисом». Чудны дела твои, Господи. Где, в каком уголке мира молодой поэт мог иметь столько воли, столько внимания и, вообще, всего того, что имели поэты в нашей стране?..

# Дважды ахматовская будка

\* \* \*

Удивительная связь прослеживается между моей семьей и Ахматовой. Моя мать одно время жила в Тучковом переулке, в том самом доме, где и Ахматова с Гумилевым в начале XX века. «Тучка» – любовно называли они свою квартиру. А в 90-х, когда поэты выживали, как могли, подаваясь в «дворники и сторожа», я охранял пустырь на набережной Робеспьера – позже на этом месте появился памятник великой поэтессе.

Недавно случился еще один казус: мне выделили дачу Ахматовой в Комарово. Это практически дом-музей, где Анна Андреевна отдыхала последние десять своей жизни, остался в ведении Литфонда и до сих пор сдается в аренду членам писательских союзов. Странная планировка – коридоры-закоулки и полутемная комната – дала название дачи «будка» (произносилось Ахматовой с иронией, но добродушно). Сюда приезжали Фаина Раневская, Юнна Мориц, Иосиф Бродский, что сделало место еще более культовым и привлекательным для туристов.

Свое новоселье на даче я бурно отметил с друзьями, а наутро ко мне постучался поэт Евгений Антипов, и, указав на мою опухшую физиономию, радостно провозгласил:

– А вот и ахматовская будка!

\* \* \*

Поросший соснами участок между Кудринским переулком и улицей Осипенко был передан Литфонду под писательские дачи в 1955 году. Тогда же здесь построили четыре деревянных дома, а потом, в 70-х, еще два.

Ахматова стояла первой в очередь на заселение. Пока шло строительство, она гостила у своих друзей, Александра и Сильвы Гитовичей, на 2-й Дачной улице. «Не дождавшись полного окончания работ, Ира увезла Ахматову от нас осваивать свою дачу. Не успела она уехать, как я получила душераздирающую записку. "Милая Сильва, – писала она, – против окна моей комнаты стоит дровяной сарай. Взываю к Вам! SOS! Помогите! Целую. Ваша Ахматова". Я тут же побежала к ним на Кудринскую, дала плотникам на пол-литра, и они перенесли сарай к забору. В житейских делах она была беспомощна. Все знали, что она боится техники, не умеет включить проигрыватель, не умеет поставить пластинку, не умеет зажечь газ». (Сильва Гитович. «О Анне Андреевне»).

Не умела зажечь газ – зато с удовольствием топила печку, собирала и чистила грибы. Посадила у крыльца клены, привезенные из сада Фонтанного дома (теперь их нет – не прижились? вырублены?). Приносила из леса коряги: они были повсюду: и в доме, и на участке. Самая большая, рогатая, именовалась «деревянным богом» и важно возлежала под окнами веранды.

Обживалась так: в будке появились матрас на кирпичах, так и не замененный полноценной кроватью («У меня кровать на кирпичах, – говорила Ахматова, – а у Пушкина была не березовых поленьях») и длинный письменный стол, уставленный книгами, вазами и подсвечниками. За ним Ахматова переводила Леопарди и Тагора, писала – вернее, записывала уже сложенные в уме стихи.

«Вдруг, во время очередной реплики собеседника, за чтением книги, за письмом, за едой, она почти в полный голос пропевала-проборматывала – "жужжала" – неразборчивые гласные и согласные приближающихся строк, уже нашедших ритм. Это гуденье представлялось звуковым и потому всеми слышимым выражением не воспринимаемого обычным слухом постоянного гула поэзии. Или, если угодно, первичным превращением хаоса в поэтический космос». (Анатолий Найман. «Рассказы о Анне Ахматовой»). Сама поэтесса писала о процессе стихосложения не без лукавства:

Подумаешь, тоже работа, –  
Беспечное это житье:  
Подслушать у музыки что-то  
И выдать шутя за свое.

И чье-то веселое скерцо  
В какие-то строки вложив,  
Поклясться, что бедное сердце

Так стонет средь блещущих нив.

А после подслушать у леса,  
У сосен, молчалиниц на вид,  
Пока дымовая завеса  
Тумана повсюду стоит.

Налево беру и направо,  
И даже, без чувства вины,  
Немного у жизни лукавой,  
И все – у ночной тишины.

(Из цикла «Тайны ремесла». Июль 1959. Комарово)

В Комаровскую глушь, к Ахматовой, приезжали друзья, поклонники, молодые и знаменитые авторы, литературоведы из-за границы... Собственно, это был ее звездный час, когда, восстановленная в Союзе писателей, получавшая премии, книги и как бы второе признание, она осталась одной из последних свидетелей Серебряного века.

«Она любила толчею вокруг, называла скопище гостей "станция Ахматовка". Когда я заставала ее на даче в одиночестве, она говорила: "Человека забыли" (реплика Фирса, оставленного в заколоченном доме)». (Фаина Раневская. «Судьба-шлюха»).

И сейчас, постоянно приезжают поклонники, – обходят

благоговейно будку и, выйдя на Озерную улицу, «дорогой, не скажу куда», направляются к нынешнему, последнему пристанищу поэтессы...

\* \* \*

В 1966 году, после смерти Ахматовой, из будки хотели сделать музей, но конструкция дома – маленького, с темными коридорами, – для этого не годилась. Поэтому мебель пристроили в различные фонды (знаменитое ахматовское кресло с высокой спинкой хранится в Фонтанном доме), а дачу продолжили сдавать писателям. После Ахматовой здесь поселился Глеб Семенов и жил где-то до начала 70-х. Хотя Глеб Сергеевич не мог бы назваться крупным поэтом, но у него был удивительный поэтический слух. В его лито занимались Александр Кушнер, Нонна Слепакова, Глеб Горбовский, Галина Гампер... Об ахматовской будке у Семенова есть удивительно лирические, «дождливые» строки:

Шум дождя на веранде,  
лето, дачный сезон.  
Сколько там не горланьте,  
я дождем обнесен.  
Я дождем забормочен,  
мне совсем не до вас.  
Да и весел не очень  
я, наверно, сейчас

Шум дождя на веранде,  
каждодневный недуг  
Никаких нет гарантий,  
что разведрится вдруг  
Ни малейшей отсрочки.  
Так что, брат, не ершись!  
Недописаны строчки,  
недодумана жизнь.  
Шум дождя на веранде  
до конца моих дней  
Напоследок сварганьте  
кофе мне почерней

Или нет, погодите,  
лучше сам я сварю.  
Вы со мной посидите,  
я на вас посмотрю.

В числе последующих обитателей будки: писатель-историк Даниил Аль, прозаики Андрей Кутерницкий, Сергей Носов и поэт Игорь Кравченко. И главный старожил – прозаик Валерий Попов, въехавший сюда в 2003 году, сразу после того, как стал председателем Союза писателей Санкт-Петербурга. Он рассказывал: «Будка разваливалась. Гнилые доски, плохие предохранители: только включишь чайник – выщелкиваются пробки, показывая красную фигуру. Я называл

ее «фига Ахматовой»: мол, Анна Андреевна грозит: «Не место тебе здесь!». Как-то пытался делать ремонт. Нашел плотника – он здесь жил и как бы строил крыльцо. Получалась какая-то странная штука, похожая на египетскую пирамиду... Плотник крепко выпивал, но в четыре утра в нем просыпалась совесть, и на весь поселок начинал бойко стучать молоток. В восемь утра совесть замолкала, и плотник куда-то исчезал. Порой я видел, как он сидел в пивной и важно говорил собутыльником: «Работаю с домом Ахматовой. Выматываюсь страшно!». Он был народным героем.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.